

ЮРИЙ ФЕЛЬЗЕН

CC 32137

Nom : FREUDENSTEIN

Prénoms : Nicolas

Date Naissance : 24-10-94

Lieu : Pétrograd

Nationalité : Ref. Russie

Profession : Homme de Lettres

Domicile : Champagne au M^{te} Dore
(Rhône)

111 av^e de L'Archevêque
Pél.

C. L. val d'auvergne Chalons 41 Saône

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

II

Юрий Фельзен
Собрание сочинений. Том II

«Водолей»

Фельзен Ю.

Собрание сочинений. Том II / Ю. Фельзен — «Водолей»,

ISBN 978-5-91763-137-0

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы. Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя...» Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

ISBN 978-5-91763-137-0

© Фельзен Ю.

© Водолей

Содержание

«Роман с писателем»	6
Пробуждение	6
Возвращение	19
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Юрий Фельзен (Фрейдентштейн Николай Бернгардович) Собрание сочинений. В 2 т. Том II

«Роман с писателем»

Пробуждение

У меня есть одно недостижимое и всё же упорное стремление, от которого немедленно возникает замирающий, обессиливающий страх – восстановить далекое прошлое (гимназию, детство, Петербург), вдвойне безнадежно похороненное, в чем, увы, сомневаться нельзя: ведь это прошлое для каждого из нас словно бы украдено и между ним и нами разрыв, произведенный чудовищными событиями, навязанной нам жизнью в каких-то призрачных городах, в чужой, непонятной, неприемлемо-сложной суете, а кроме такой наглядно-внешней причины имеется и внутренняя – что мы не можем отделить от новых бесчисленных душевных наслоений, от нового опыта далекое свое прошлое, и его манящей, первоначальной непосредственности не воскресит перегруженная наша память. Я за другими забывчиво округляю всякие прежние, ничем не завершившиеся случайности и придаю их безобразному нагромождению невольную последовательность, порою строжайшую закономерность, и нередко себе могу уяснить то, к чему раньше относился бессознательно, могу взволнованно, просветленно-творчески передать ничтожные и вялые когда-то часы, но жизненная их свежесть бесповоротно мною утеряна. И однако слепая моя настойчивость сохраняется: у меня давящая (пускай невоплотимая) потребность ворваться в прошлое и те смутные годы запечатлеть не ради «поэзии умершего быта», не ради поэзии самих воспоминаний, а для того, чтобы по мелочам проследить, как в темной путанице предутреннего детского хаоса родилась куда-то направленная самостоятельность и как ее тотчас же коснулось страшное время, подготовившее безвыходные наши дни – и в старательных, напряженных своих поисках я буду довольствоваться хотя бы несовершенными, хотя бы теперешними обманчиво-поздними выводами.

Четвертый класс гимназии, мне ровно тринадцать лет, холодная, грязная северная осень – каким сейчас нам кажется чудом тогдашняя простая возможность ходить равноправно и гордо по столичным, родным петербургским улицам: конечно, тогда мы этой гордости не испытывали, и лишь последующие напрасные сожаления ее создали и безмерно преувеличили, создав и другую естественную выдумку – о легкой жизни, об утраченной сладости, которых никто в свое время не ощущал. В том промежуточном возрасте все школьные отношения вдруг обернулись в благоприятную для меня сторону, и недавние завидные преимущества – заносчивость и сила – недоступные мне, оказались ненужными, отчасти даже вредными: они у многих незаметно превратились в курение, хулиганство, футбол, в бесстыдные разговоры о женщинах, и мы уже безошибочно знали, что начальство, олицетворявшее судьбу, покровительствует хотя бы видимости иного. Был грозный, безжалостный случай – кого-то выгнали за «неприличные» рисунки: директор в синем вицмундире, с черно-седой холеной бородкой, и новый, звенящий, устрашающий голос: «Петров, соберите ваши книги и можете идти домой». Мы суеверно шептались по углам о «волчьем паспорте» (с таким никуда не примут) и, как бывает у нашаливших детей, если один из них попался и наказан, изображали особую примерность, с оттенком полусознательного предательства, с желанием приспособляться и скрывать.

После глупых и обидных неприятностей (услышанные мои подсказывания, упорное молчание вместо ответа, решенное всем классом, меня, однако, не поддержавшим), я понемногу инстинктивно нашел «среднюю линию» – осторожных и скрытых шалостей, когда это ничем не угрожало, и послушной лояльности в глазах учителей. Тот же директор, пытавшийся крикливостью маскировать бережно-мягкую свою доброту, был ко мне слишком заметно расположен, до какой-то перед всеми неловкости, и на томительных своих уроках географии меня единственного не упрекал за болтовню – тем самым поощряемую – с моим соседом по парте. Мы уныло вычерчивали низменности и горные хребты (в виде червячков, истыканных остриями), он садился и поправлял чей-нибудь «контур», а я догадывался, что надо говорить о войнах и полководцах, о прочитанных книгах, и мне казалось, будто он любит нашу взрослость. Мой сосед, крепкий, стройный, чистенький мальчик, с розовым, нежным лицом, с удлинёнными по-женски отделанными ногтями, отлично знал, какое у нас преимущество, и, разумеется, не портил игры. Его любили товарищи и старшие – за приятную внешность, за легкую во всем одаренность – и даже имя его и фамилия, Женечка Костин, давали повод для двусмысленно-ласковых прозвищ – «наша Женечка», «наша милая косточка» – он изредка сердился, вероятно кокетничая и неискренно. Я восхищался, без малейшей зависти, его работой, тем, как неуловимые движения карандаша, всегда ровно-остро и умело отточенного, преобразуют бледную, скучную, мертвую карту в отчетливо-яркое, почти живое существо. Меня пленяли его сильные, ловкие руки – я тогда еще не мог понимать, что и мужская, бескорыстная, «умная» дружба порою основывается на внешней привлекательности: в большую перемену мы подымались в верхний коридор, где чинно прогуливались недостижимые восьмиклассники, и, обнявшись, подражали их чинному хождению, себя ощущая такими же серьезными, им равными – и в чем-то неясном трогательно сближенными между собой. Как полагается, мы их знали наперечет, впоследствии же маленькие для нас сливались в одно, но именно тогдашняя совместная затерянность в столь недоступном и желанном кругу меня с Женечкой Костиным особенно связывала.

Уже три года продолжалась наша спокойная, ровная дружба, с неисчерпаемыми разговорами и постоянными взаимными услугами, такими естественными у неизменных соседей: нас многие пытались почти насильно рассадить (хотя бы для подсказок, для списывания задач), и каждый раз после долгих летних каникул, когда мы все откуда-то съезжались – загорелые, одичавшие и шумные – смягчая ложным весельем понятный тайный испуг перед необходимостью приспособиться к нелепо-разумному порядку и снова в себе унять еще неизжитый размах свободы – каждый раз несмело, нерешительно, однако обидчиво и упорно мне предлагал с ним рядом сидеть наиболее странный из наших гимназистов, последний по алфавиту, Щербинин – как и от многих других, я с неловкостью от него избавлялся, досадуя на его назойливость и вынужденные глупейшие свои предлоги. Он жил в условиях, необычных для нас – у тетки, к нему равнодушной, нестрогой и чем-то занятой – и мог поступать как угодно, не боясь наказаний и вопросов. Его родители давно разошлись – отец был на службе, в Сибири, мать, кажется, на юге, в имении. К началу японской войны он находился при отце, военном чиновнике, и с ним попал ненадолго в Маньчжурию, где заболел и откуда его отправили в Петербург – в результате он с учением запоздал и был на два года старше меня. Худой, длинноногий и длиннорукий, с неподвижным, бледно-серым лицом и словно бы выцветшими голубыми глазками, он людей как-то невольно раздражал – и меня, пожалуй, особенно заметно – униженным своим тоном, просительными словами: он, заискивая, со мной говорил о клятвах верности, о дружбе «без секретов», и я безглаголиво тогда ненавидел его молящие, немигающие глаза, вечный запах изо рта, грязные, желтые зубы, его холодную костлявую ладонь, тонкие пальцы с коротенькими синеватыми ногтями, весь его грустный, замороженный вид. Эта жестокая неосознанная моя безглаголивость, вероятно, и помешала осуществиться наивно-гимназическому нашему «роману» – я не знал, как бывает неумолим тот, кому навязывают

любой роман, и меня всё щербининское изводило, даже хриплый, неестественно-сдавленный его голос. Нас, должно быть, отталкивало от Щербинина и его какое-то вызывающее с нами несходство: так, он заплакал после взятия Порт-Артура и восторженно рассказывал о воспалении обоих легких, от которого еле оправился, – «Ах, как приятно и спокойно умирать, скоро скоро дышится, немножечко побаливает в боку». Нам это казалось постыдной «бабьей ерундой», и общей забавой стало бить его по спине – я сейчас понимаю, как были страшны такие по-детски безжалостные удары, причем он гримасничал, изгибался, краснел, не возбуждая в нас ни сочувствия, ни раскаяния. Всех беспощаднее себя вел его сосед, силач и рослый второгодник, Штейн Анатолий (в отличие от брата, – Штейн Николай, – исключенного за подделку отцовской подписи): нагло-красивый, наш постоянный «коновод», он обязательно перед каждым уроком размашисто-гулко ударял Щербинина по спине, изловчившись и выбрав неожиданную минуту, и затем нас победительно осматривал, а мы смеялись над щербининским удивлением и гримасами и одобряли столь находчивую шутку. Мы сами Штейна слегка побаивались и ему завидовали, и даже теперь я немедленно узнаю во многих людях, особенно в молодых – по дерзкой улыбке, по такому же вздернутому носу – тех обольстительных, ему подобных удалцов, что в детстве меня дразнили и мучили, подавляя умственную, раннюю мою гордость неотразимо-издевательским своим презрением: иные потом были вынуждены усвоить и «умственное», со всеми сравняться в любви, заботах, делах, в чем иногда со мной считаются и от меня зависят – невольный, неизбежный отыгрыш изобретательной физической слабости, прижизненный переход от первобытного к нашему веку. Хотя зрительная, слишком короткая моя память обычно разрушается временем и отдельные запомнившиеся черты не создают единого образа, но Штейна я вижу порой с наглядной, осязательной точностью, с какой не сумею передать – блестящие черные волосы, темно-карие смелые глаза под круглыми густыми бровями, пушок над приподнятой верхней губой, ошеломительно-белые зубы, девическая нежность лица – отдаленно, толстовская «Lise», но в преломлении задорном до наглости. Мы были так им увлечены и запуганы, что ради него становились храбрыми, перед ним отличались в боях с параллельным и старшими классами, и глухое одобрение Штейна нас поощряло, воодушевляя на безрассудство, словно приказ непобедимого вождя. Щербинин не менее других старался перед ним выслужиться, но у него обнаруживалась во всем природная убогая неудачливость: никто не хвалил его «подвигов», искусно-быстрой увертливости в играх, какой-то суетливо-немужественной, хотя и несомненной его ловкости. Как я уже ранее отмечал, наши прежние доблести обесценились – и Штейн начал уклоняться от драк, ухаживал, ругался с учителями, стал голкипером и щеголем (часы на ремешке) – однако Щербинин, отставший от моды, его как-то вызвал на бой и был им снисходительно избит. На горделиво-жалкий вопрос: «Ну что же, признайся, я не струсил», – получился уничтожающий ответ: «Да, трусости ни капли, но и силы ни капли», – и штейновское любимое: «Чего ты треплешься, трепач».

Этот год и следующий прошли мучительно-тревожно – из-за мужского инстинкта, в нас пробужденного и сразу превратившегося в какую-то чувственную одержимость, невеселую, звериную и грязную: ломались голоса, многие выдумывали о себе отвратительные, нелепые подробности, в широчайшей уборной читалистихи – друг о друге, о двух наших учительницах, некрасивых, почтенных и немолодых. Иногда кто-либо стремительно вбегал, с громким возгласом: «Морковка идет» (давнишнее прозвище нашего помощника классных наставников) – стихи и курение мгновенно прерывались, каждый притворялся озабоченно-занятым, и сконфуженный, запыхавшийся Морковка уходил, не доверяя нашей невинности и готовясь нам отомстить и нас поймать врасплох. Это ни разу ему не удалось: он всегда был точно в пьяном угаре (быть может, и действительно пьян) и на своих уроках истории, казалось, не слушал ответов, загадочно прятал открытые книги под классным журналом, читал нам задаваемое унылой скороговоркой по учебнику и странно путал наши имена – красно-пятнистая лысина и лицо, вероятно, и создали неблагозвучное его прозвище, к нам перешедшее от леген-

дарных времен. В нем была та же иступленная тревога, которая подавляла и нас – мы как-то смутно ему симпатизировали и с ним вели себя подтянуто, более сдержанно, чем с иными внимательно-строгими учителями. Я, конечно, тогда не понимал этого различия между детством и «полувзрослостью», этого беспомощного, опасного беспокойства, этих нетерпящих отлагательства порывов, каким поддавались и самые уравновешенные, самые бесстрашные и житейски-ловкие мои товарищи. Помню свое наивное удивление, когда Лаврентьев, великовозрастный ученик, спокойно-трезвый наш неизменный миротворец, меня спросил о том, как я «устраиваюсь» и есть ли у меня «постоянная связь». Длинный и стройный, пропорционально сложенный, с тонким, узким, чуть миниатюрным лицом, он составлял прекрасную пару с Анатолием Штейном и был его неразлучным приятелем: они нас опередили, соблюдали какое-то мужское достоинство и хвастливо рассказывали о своих сомнительных победах. Я развился относительно поздно, причем во мне – до первой ревности в двадцать лет – отчетливо разделялись сентиментальность и чувственность, и даже не знаю, что именно преобладало. Я был годами как-то неосознанно влюблен в еле знакомую сверстницу, с белокурыми локонами, придававшими картинное сияние безмятежному, остро-худому ее лицу – это вспыхнуло сразу от выражения (о ней) «ангелоподобная», мною где-то услышанного и воспринятого глухо-завистливо (не так ли нас поражают неведомые альбомные красавицы) и обратившего всю дальнейшую мою влюбленность в бесплотное обожание недосыгаемой ангельской прелести: я не подумал, что можно признаться в своей любви, хотя бы смутно ее показать, и навязчиво-бережно от всех ее скрывал, боясь невиннейших, простейших упоминаний, меня доводивших до полубморочного стыда, до краски и пота, никем ни разу не замеченных. Эта бледная, тонкая девочка вскоре стала героиней моих вымыслов – она восхитительно появлялась к концу, вместо недавних мичманских подвигов, навеянных газетными описаниями японской войны. Я с ней виделся лишь на даче, и летняя обстановка мне представлялась чудесной, ослепительно-щедрой, предельно оторванной от гимназической размерности, но и в городе, зимой, не тускнел ее облик, и перед сном – как в отошедшем, уже сказочном детстве – мир опять рисовался мне исполненным опасностей, а постель казалась «крепостью» или чаще «уютным гнездышком», где я мог целомудренно о ней вспоминать. Я надолго возненавидел обыкновенные слова – «ухаживать», «целоваться», «любовник», «влюблен» – едва подумал, что и к ней их посмеют применить: к ней они были для меня как-то кощунственно-неприменимы – пожалуй, отсюда и возникла смутная ранняя моя неловкость из-за всего, что в наше время называется «клише» и что становится невыносимым для пробудившейся «индивидуальности», рождающейся у людей моего склада от первого же подобия любви. Меня начали отталкивать и раздражать совсем безобидные «общие места» – «бархатный тембр», если говорить о пении, восторженное «музыка» остихах, или обо мне снисходительное «наш рифмоплет». Я сам прекратил свои стихотворные излияния после чьей-то нелепой взрослой поправки – у меня трогательно описывался нищий на дворе:

Он горькие песни на скрипке играл,
Но этих напевов никто не слышал.

И вот некий важный, придиричивый гость, которому я, по домашнему заказу, эти наивные стихи прочитал, укоризненно посоветовал заменить скрипку «арфой» – уязвленный и сбитый с толку, я совета послушался, но внутренне ощутил, какая ненужная в нем фальшивость, как трудно совместить живого, наглядного слушателя и себя, и стыдливый, уединенный свой мир, и сперва я скрывал неумелые свои писания, а затем размеры и рифмы представились мне бесцельными, и я больше не мог их искусственно подбирать: должно быть, чрезмерная эта чувствительность потом уже загнала в бесплодную глубину настойчиво-страстную потребность мою в творчестве, явно невоплотимую без некоторой толстокожести, без грубой, презри-

тельной, профессиональной сопротивляемости. Зато во мне развилась какая-то невыраженная грусть – о себе, об уходящем времени, о неповторимости впечатлений: я помню утреннюю поездку на пароходике и радость, предвкушавшую дневные удовольствия и усталый вечерний обратный путь, с бесконечной обидой, что всё уже было, что нарядное утро навеки оттеснено и что в памяти останутся лишь внешние подробности, помню также на даче – в постели перед сном – залихватски-унылые звуки «венгерки», доносившиеся из огромного соседнего сарая, дребезжащий рояль, неугомонный топот ног и еще неиспытанную сладчайшую к себе жалость. Я завидовал чужому, недоступному мне веселью (и впоследствии жадно стремился проникнуть в заманчивую тайну чужих отношений), я смутно пережил неустойчивость этой минуты, и этой музыки и одинокой моей печали, и откуда-то – после тягостных душевных усилий – явилось первое недетское открытие, сознание гибели всякого настоящего, страх за темное будущее, лишенное настоящего, единственно реального в своей очевидности (особенно если оно беззаботное и заполненное), страх позднейших забывчивых о нем сожалений и немедленного конца даже безразличных мелочей, то отчаяние из-за ежечасной «смерти при жизни», которое я долго не мог преодолеть. С годами, как все, я, оглушенный, утерял ощущение времени, гибнущего безвозвратно, и, как всех, меня исключительно стали задевать непосредственные, сегодняшние радости и неудачи – только изредка, почему-либо от них освобожденный, я неожиданно вслушивался в уносящий меня поток, с каким-то всё менее острым желанием его остановить и за что-то неподвижное уцепиться, хотя он постепенно мои возможности разрушал и уже мне обещалось и предстояло немного.

Эту поэзию неустойчивости, впервые тогда осознанную, вновь оживила ребяческая моя влюбленность – неясные чувственные влечения казались совсем из другого мира, непоэтического, низкого и стыдного. Я могу теперь и ошибиться, но считаю, по давним воспоминаниям, будто исходный толчок разнузданным мыслям давали не женщины и не кровная в них потребность, а незаметные, второстепенные обстоятельства – журнальные рекламы, cartes-postales, газетные происшествия, книжные намеки: очевидно, «культура», вернее, ее изнанка въедается раньше и глубже, чем мы думаем или хотим допустить. Напротив, мальчишеская болтовня меня расхолаживала и брезгливо отталкивала: я одинаково скрывал и светлую и темную свою тайну, избегая грубых рассказов и обязательных порнографических стихов. На меня из-за этого обижался Санька Оленин, признанный наш поэт, неглупый мальчуган (из тех, кого называют «шустрыми»), крошечного роста, смуглый до черноты, с негритянскими розовыми ладонями и грязно-малиновыми ногтями, веселый пакостник и лентяй, не пропускавший и «серьезных» разговоров. Он меня сокрушенно (и в чем-то верно) предупреждал: «Ты слишком гордый и будешь несчастный в любви». Оленин был сыном известного певца, однако презиравшего театральную среду и считавшего полезным для своего Сашеньки достойную дружбу с хорошими учениками, так что мы с Костиным каждое воскресенье приглашались к Олениным на чай. У них было скучновато и благообразно – за чаем, с бесчисленными вареньями, с невкусно-пестрой пастилой, сидели без конца, причем разговаривал только отец, высокий, лысеющий, розово-толстый господин, с особой барской уверенностью «артиста императорских театров». Он расспрашивал об отметках и учителях, не отвечая на Санькины вопросы относительно всяких оперных дел, а мать, хроменькая сморщенная грузинка, явностиравшаяся перед мужем, лишь молча вздыхала, глядя на сына. Иногда приходили подруги к пятнадцатилетней Лизе, тихой, тоненькой девочке, которая чем-то умиляла Костина. Санька это сообразил, несмотря на всю Женечкину замкнутость и – как-то предложив сыграть в «летучую почту» – сестре написал измененным, ломаным почерком письмо с пожеланием «улечься вдвоем в постель» и с отчетливой подписью – «Ваш навеки Евгений Костин». Бедного Косточку позвали в оленинский кабинет и затем со скандалом шумно выпроводили на лестницу, да и меня из осторожности перестали приглашать, а на следующий день в гимназии происходила неслыханная драка, и Лаврентьев из-под Костина еле вытащил Саньку, окровавленного, помятого, но довольного

собой, и с трудом через месяц их помирил. Я думаю, в Саньке Оленине было что-то прирожденно-порочное, и его шалости, нередко остроумные, всегда оказывались неприятными и безжалостными: так однажды он избил случайно подвернувшегося малыша, мать которого после уроков пыталась его усовестить (великодушно не обращаясь к директору), и на последний ее довод – «Ведь и вы были таким же маленьким» – Санька убежденно возразил, что «не был». Он любил озадачить неопытного приятеля, его пригласить покататься на извозчике и, заботливо усадив, оставив одного, внезапно крикнуть извозчику: «С Богом!» – заранее зная, что приглашенный без денег и очутится в безвыходном положении. Он нам хвастливо также показывал кривые ножницы в узком футляре (чтобы укорачивать косы гимназисткам и китайцам) – подобной смелости мы уже не верили, да и не слишком ее одобряли, как нами ни ценилось любое озорство. И меня он подвел незадолго перед тем (правда, ненамеренно и всё же безответственно), предупредив, что сошлется на мою забывчивость – накануне он тайно «прогуливал», и я будто бы не сообщил ему о заданном стихотворении – по неписанным законам товарищества я принял на себя вину, зато как меня смутили неожиданные слова русского учителя и классного наставника, веснушчатого-рыжего Николая Леонтьевича, слова презрительно отчеканенные и для меня достаточно нелестные:

– Мало ли что скажет тебе всякий шут гороховый, а ты и развесил уши.

Николай Леонтьевич нас постоянно дразнил, издеваясь над ошибками, перехваливая удачи и тем вызывая соревнование и досаду: это был его способ преподавать, задорный, веселый и опасно-увлекательный, однако меры он, по-видимому, не знал и – приучив нас еще детьми к фамильярности – нередко потом в старших классах наталкивался на обиды, на грубый отпор и вражду, которые умирал с непоследовательной жестокостью. Он невзлюбил почему-то Щербинина и со скукой выслушивал монотонные его ответы, хотя тот особенно старался его пленить: насколько теперь я с опозданием понимаю, Николай Леонтьевич капризно предпочитал забавную, легкую находчивость и юмор бездарно-прилежным, тяжеловесным усилиям. Должно быть – и об этом я догадываюсь лишь теперь – Щербинину недоставало какого-то необходимого «шарма», при всем желании нравиться и ближе с нами сойтись, он, вероятно, мучился из-за напрасных своих попыток и ревниво завидовал мне и Костину, да и всякой иной неприятельской дружбе. Как и я, он сторонился цинических разговоров, однако без отвращения, скорее равнодушно, и мне представляется странно-бесполом – с оговоркой о приближенности теперешних моих суждений. Зато он был не по возрасту громко-сентиментален – помню хриплый, надорванный, печальный его голос, покачивание головы с опущенными веками, запах изо рта, благоговейно произносимые слова:

Какие б чувства ни таились
Тогда во мне – теперь их нет:
Они прошли иль изменились...
Мир вам, тревоги прошлых лет!

Я презирал его унылое, дрожащее волнение, со всей беспощадной мальчишеской слепотой – сейчас для меня эти слова неотразимы (от грустных воспоминаний, от последующего опыта), но позднее мое сочувствие не восстановит справедливости. В повышенно-чувствительной своей доброте иногда замечал он неуловимое для других: так однажды он расплакался из-за нищего в котелке, приплясывавшего на морозе в драных желтых туфлях – его поразил именно жалкий котелок (впоследствии для меня чуть надуманный образ униженной русской интеллигенции, обедневшей, разбитой и в беженстве и в России).

Среди причин, за два года перед тем вызывавших побоища на гимназическом дворе, было модное деление на «красных» и «черных» – потом, в наши тринадцать-четырнадцать лет, побоища сменились неистовыми спорами. Правда, у большинства это являлось подражанием

– притворством, самообманом, веселой игрой – и мы следовали взглядам, наивно вынесенным из дому, причем и доводы обычно повторялись семейные, однако немногие, вроде Оленина, уже презирали «отсталых» своих отцов. Щербинин и Штейн – и особенно Костин – по-разному усвоили напуганную событиями, но крепкую лояльность военно-чиновной родни и себя объявили «патриотами» и «правыми», мы были с Лаврентьевым «идеалистами» и «левыми», в чем Лаврентьев поневоле не сходил с Штейном, осторожно не подчеркивая своего расхождения. Его «просветил» и увлек старший брат, один из тогдашних «серийных» студентов (в косоворотке, с Отто Вейнингером, Марксом и гитарой), за меня тоже взяли два каких-то студента (случайные, дачные наши знакомые), один «анархист», другой – «с.-р. максималист», оба, как выяснилось, безобидные болтуны и вскоре деятельные, благоразумные, честолюбивые адвокаты: увы, такие прозвища в детские наши годы были признаком боевого революционного прошлого, хотя нередко их грозные, отважные носители оказывались многословными и безответственными выдумщиками. Но у меня на долгое время от этих людей остались убедительные, мнимо-опасные словечки (например, о всемогущих Ярон и Гарон, с которыми одинаково не справился царь), осталась путаница партий и всякой левизны, и началось бессмысленное чтение газет, слепое обожание навязанных мне кумиров – и умеренно-скромных столичных профессоров, и тех, кто убивали, бесстрашно собою жертвуя. Мы учились, без проверки, восторженно думать нам внушенными, скудными, плоскими мыслями: с давних пор это свойство мне представляется русским – не от русской ли склонности себя унижать – но для меня оно подтвердилось в начале войны, когда вчерашние лохматые бунтующие мои приятели с упоением подхватили гусарские традиции и лихой, столь им чуждый кавалерийский «цук». Эту же стадность увлечений разгадали большевики и сумели презрительно ею воспользоваться. Я вспоминаю со стыдом приписыванье нелепостей своим «кумирам», спортивное волнение перед думскими выборами, проникавшее и в мои «воображаемые романы», тогда наиболее во мне интимное. Я поддавался поверхностной головной лихорадке – по существу ведь и школьные наши предметы мне были душевно милее и ближе.

Так иные, неожиданные латинские слова меня грустно пленяли по смыслу или звуку – склонявшееся на уроках «irrevocable tempus» (соответствовавшее первой моей сознательной грусти), таинственно-жалобное, дребезжащее «quaerela», несносные предлоги, вдруг переложенные в стихи. Я улавливал что-то увлекательно-жизненное и в учебниках истории (вопреки их «казенщине»), и в гнусавом бормотании, в пьяных возгласах Морковки: он конечно своего не мог прибавить и наполовину спал, но внезапно просыпался, говоря об итальянских женщинах – от властных римских императриц до Екатерины и Марии Медичи – и, лукаво улыбаясь, подмигивал («коварные итальянки»), словно знал о них какую-то разоблачающую тайну. К нам однажды явился старичок, окружной инспектор и, отчетливо мелом изобразив на доске колонны и путь Карфагенского похода, внушительно-громко назвал имена: «Понимаете, Ганнибал, Газдубал и Магон», – и по-новому участливо объяснил их поражение, чем всё это мгновенно для меня оживилось: я применил его рисунки к нашим побоищам на дворе, особенно же к летним воинственным играм, и тяжелая поэзия исчезнувшего мира слилась навсегда с полуродным земляничным полем, с низеньким берегом Финского залива, откуда за пароходами виднелся Петербург. Также и смутные уездные города не зря были известны «кустарными промыслами» и не зря очаровывали шуршащие «супески и суглинки» и неведомо-гулкие Драва и Морава: нас, естественно, поражали заманчивые созвучия и многое доносило азартной фантазией, но еще обостреннее мы воспринимали соблазнительную достоверность, угданную за созвучиями. Иногда и нелепые, попросту ребяческие ошибки меня приближали к неожиданной реальности: я с детства запомнил – «всеобъемлющей душой» (вместо пушкинского «всеобъемлющей», в изображении Петра Великого) – и я видел Петра на каких-то ассамблеях, о которых читал в тех же «казенных» учебниках. Разумеется, полнее всего меня захватывали именно рускиестихи – и не только «Вещий Олег», «Три Пальмы», «Бородино», но и

«на корабле купеческом “Медузе”, который плыл из Лондона в Бостон, был капитаном Бопп, моряк искусный, но человек недобрый...» От этого возникали затейливые, наглядные представления, к тому же подкрепленные размерно-словесным колдовством. Мы волновались – чуть сладострастно – перед русскими уроками, готовясь отразить нападения и хитрости неутомимого на всякие изобретения Николая Леонтьевича («в деревне “Волки” все крыши изъели»): он как-то по-товарищески над нами издевался, нас искренно высмеивал: «Все попались, даже Костин», – и никогда не выказывал умышленной снисходительности, столь обидной в разговорах скупающего взрослого с детьми. По субботам директор неизменно просматривал журнал, выговаривал за единицы и двойки и кое-кого начальственно-резко поощрял: «Костин Евгений, хорошие отметки-с», – и его безыскусственные, скорые выводы были вовсе не праздной для каждого игрой, а каким-то завершением существа и поэзии наших дел, нашей милой разнообразной гимназической повседневности.

Порою случались и несправедливости, и мы любили негодуя критиковать учителей (из-за чего лишь развилась природная моя склонность к анализу), но бывало и так, что их возмутительные пристрастия совпадали с нашими до мелочей – хотя бы недооценка всех усилий Щербинина, никого не удивлявшая и как-то привычно-незаметная. Я с ним однажды гулял на большой перемене, и мы читали друг другу заданный отрывок из «Полтавы», причем он помнил наизусть несравненно лучше меня и мне укоризненно (быть может злорадно) сочувствовал – на уроке пришлось отвечать нам обоим, и я, от волнения, от неуверенности и стыда, еще более прежнего сбивался и путался, но спасла меня откровенная помощь Николая Леонтьевича, его подсказывание и мой ложный подъем в ударных местах. Щербинин же, как обычно, себе вредил унылой, хриплой своей скороговоркой, и вот Николай Леонтьевич (мягко спросив: «Что, поленился?») мне вывел отчетливую, стройную пятерку – мы знали отметки по взмаху руки, по движениям пера – а взволнованному Щербинину безнадежную тройку, и на его молчаливый, нескрываемый укор последовало безжалостное, в мою пользу, сравнение:

– Большому кораблю – большое плавание.

Потом несколько дней его дразнили этой фразой, и никто не подумал с ним возмутиться заодно. Впрочем и положение «хорошего ученика» оказывалось трудным, непрерывно ответственным: надо было оправдывать чужое доверие, неуклонно подтягиваться, бояться неудач, снижающих репутацию и явно-обидных для чьей-то незаслуженной, непрочной благожелательности. Весь этот страх я испытывал, уже будучи взрослым – и на службе, и в делах, и в любви – и нередко избегал давать какие-либо обещания, хотя стремление поскорее, сейчас же понравиться в конце концов перевешивало мою дальновидную осторожность. Я также постепенно заметил одну особенность, мне часто мешавшую себя немедленно проявлять – что я бывал как-то слишком занят собой, порою не мог от себя оторваться, себе казался непрестанно у всех на виду и вдруг не отыскивал нужных мне слов, даже зная, о чем я собираюсь говорить. Это свойство теряться и быть на людях скованным с годами возросло, мне всё более препятствовало, и только теперь – после житейской борьбы, после долгих всеустраивающих любовных волнений, после ударов, уничтоживших бессильное мое тщеславие – я как будто избавился от прежней «самопоглощенности», но, пожалуй, из-за нее навсегда сохранилась стеснительная моя ненаходчивость, замененная прилежной работой наедине, вынужденной необходимостью по-ученически готовиться к иным, даже несущественным, невыигрышным мелочам. Как ни странно, всё это мне благоразумия не прибавило – оно лишь перенеслось в те немногие области, где могло быть затронуто внешнее самолюбие, уязвленное «экспромтными» моими неудачами, в остальном же я сделался намеренно-безрассуден, точно перед собою устыдившись доказанно-скупой своей предусмотрительности и подражая в легкомысленной их щедрости талантливо-дерзким «победителям», столько раз при мне платившимся за свою широту. И теперь мое безрассудство всего очевиднее в области любовной, для меня самой опасной и важной, но не связанной с вопросами чести и самолюбия, тогда же, до первой ответственной

любви, я пытался не отставать от Олениных и Штейнов, перенимая их шалости – и вовремя уходя. Впрочем дома, за отсутствием соперников и зрителей, я менялся и оттого не приводил к себе товарищей, боясь роняющей меня в их глазах, постыдной домашней своей примерности и неизбежных разоблачений у обеих сторон. Единственно, кого я полурасчетливо приглашал, был именно Щербинин, всему посторонний до слепоты и неспособный разобраться в нехитрой моей политике. У нас его хвалили (без особой горячности) за вежливость, за манеры, за французский язык, и он действительно не замечал того, что меня стесняло – разговоров о гимназии, о гимназических моих дружбах, о «культурных запросах», о вредных влияниях – не замечал у нас и некоторой обеспеченности, и твердой незыблемости внешних порядков, всей моей исключительности в нашем тусклом школьном кругу, среди убогой простоты, еле прикрытой у большинства других, им однако дававшей взамен «беспризорную», невольную свободу. Сердечнее всех к Щербинину отнеслась наша гувернантка, стареющая косоглазая француженка, с обязательным в детстве «шато» и обедневшими родителями, с исковерканной судьбой из-за неудачного романа, с непонятным благоговением перед русскими аристократическими именами – она отличалась от множества ей подобных какой-то искренной, веселой любознательностью и трезвой оценкой всего ей известного, моих родственников и товарищей (хотя бы понаслышке), семейных тайн у прежних учеников, газетных событий и бесчисленных курьезов. Я усвоил отрывочные познания в ее болтовне и с их помощью безжалостно ее дразнил (когда-то излюбленное мое развлечение): так одно укромное местечко в квартире она патриотически называла «chez Bismarck» – я догадался, чтобы ее изводить, это же самое называть «chez Gambetta» и громко радовался неукоснительному ее гневу. С умышленной наивностью я задавал ей вопросы о давних временах, о франко-прусской войне, как будто она была современницей и свидетельницей – такие намеки на возраст, пожалуй, особенно ее возмущали. Напоминающая столько людей неясного, промежуточного ранга, привычно волнуемых чужой отраженной жизнью и чужой, их приютившей средой, она не могла отрешиться от снобизма, для нее же унижительного, от призрачных кастовых подразделений и Щербинина сразу причислила к «petite noblesse», что его как-то глухо возвышало, правда, менее, чем другое его достоинство – неожиданная, им проявленная галантность: он целовал ей руку, здороваясь и прощаясь, а иногда, прижимая к сердцу свою, театрально восклицал – «la bella des bellas» – но благодушной иронии она не различала и его мне возводила в образец, я же со злости незаметно его чернил. Несколько раз и я бывал у Щербинина, в неудобной, какой-то голой обстановке. Мы подолгу сидели вдвоем (очевидно, тетку, к нему безразличную, не могли заинтересовать и его друзья) и вели неприятно-чувствительные разговоры, за холодным чаем в мутных стаканах, которые Щербинин сам из кухни приносил – я думал с тоской об этих посещениях и старался их по возможности избегать.

2.

Не помню, какой был день – вероятно, похожий на все, унылый, грязно-туманный, осенний – кажется, начинало подмерзать. Уроки шли обычным своим порядком – я аккуратно отмечал вызываемых на заранее расчерченном листе и ставил предположительные отметки (не только из любви к статистике, но и для того, чтобы вернее рассчитать, когда должен наступить мой черед – я давно уже беспроблемно изучил несложную систему преподавательских вызовов, у каждого свою, одинаково легкую и косную, и на этом строилось мое «пятерочное» благополучие). Дежурный вяло докладывал классному наставнику, Николаю Леонтьевичу – того нет, другого и третьего – и назвал последним (по алфавиту) Щербинина. Санька Оленин, «присяжный остряк», крикнул с места: «Щербинин повесился», – подражая прерывисто-хриплому его голосу. Почему-то никто не засмеялся.

После гимназии Лаврентьев, Костин и я, почти не сговорившись, молча отправились к Щербинину – узнать о его здоровье, сообщить заданные уроки – с непонятной и нам несвой-

ственной предупредительностью. Я без конца в различное время и разным людям всё это описывал, и у меня поневоле выработался один из тех пространно-готовых рассказов, которыми – незаметно для себя – мы по нескольку раз докучаем тому же собеседнику, которых сами уже не слышим, так что они, от долгой затасканности, теряют первоначальную свою точность и выразительность, чем навсегда уничтожается какое-то «жизненное дуновение» в передаваемом, да и во всяком нашем прошлом, ему сопутствовавшем: такие готовые, часто повторяющиеся рассказы потом неизбежно словно бы застилают остальное, и всё случившееся между происшествиями, в них отмеченными, бесповоротно улечивается из памяти. Мы также не видим округлений и ошибок, нечаянно возникших от словесной быстроты, от разговорной безответственности, от погони за успехом – это в дальнейшем меняет по следовательность событий и, конечно, становится неотъемлемой их сутью: так, перебирая разнообразные причины, нас троих заставившие пойти к бедному Щербинину, я приписал нам тяжелые предчувствия и затем неоднократно ими хвалился – их очевидно не было и быть не могло. Всё же постараюсь хотя бы приблизительно воссоздать свои впечатления и добраться до тогдашней непосредственности через пустые, давно омертвевшие слова.

Мы не успели удивиться распахнутой двери в передней, двум заплаканным пожилым женщинам и сладко-тошному запаху ладана, как вдруг очутились в единственной парадной комнате – посередине, на столе, возвышался гроб, и в нем лежало худое и длинное, как будто вытянувшееся тело Щербинина. К моим рассказам впоследствии привязалось туманно-искусственное слово – «парение»: мне кажется и сейчас, что именно таким (невесомым, непрочным, оторвавшимся от земли – и где-то парящим, недостижимо-далеким) я в первую минуту увидел Щербинина и лишь постепенно, из-за неожиданных слез Костина, под равнодушное бормотание бледной монашки, от сильной руки Лаврентьева, меня дружески взявшего под локоть, я в мертвом стал различать живые, знакомые черты – посиневшие острые пальцы на гимназической куртке, оттопыренные маленькие уши над новыми, фиолетовыми пятнами, прямую линию лба, переносицы и носа (внезапно обрывающуюся около губ, уродливо-четкую в лежащей неподвижности) и шею особенно-нечеловечески-удлиненную. Это запомнилось одними глазами и до сердца, до жалости не дошло – скорей уж появился зачаточный страх, меня как-то сблизивший с Лаврентьевым и Костиным в невольных поисках взаимной опоры. От них в одну секунду меня отделил простейший вопрос («Нет ли среди вас Ф.»), заданный старшей из обеих дам – по-видимому, теткой Щербинина – я почувствовал себя недаром названным по имени, виноватым и уличенным, и сразу ответственным за эту смерть, и потом даже гордился воображаемой своей виной, хотя вопрос был несомненно и безобидный и случайный. Перед уходом мы узнали, что оленинская шутка зловеще оправдана и что под утро Щербинин повесился, оставив коротенькую записку, без единого указания или намека.

Нам так и не открылась действительная причина его конца – я придумал нелепое романтическое объяснение, неразделенную любовь к миловидной барышне, о нем всплакнувшей на похоронах, должно быть, родственнице или знакомой, или просто жалостливой соседке: я больше не встречал никого из близких ему людей, и моя фантазия, не стесненная опровергающей реальностью, могла заходить как угодно далеко. Вероятно, были нелепы и другие мои предположения – будто Щербинин, излишне подозрительный, не вынес придинок Николая Леонтьевича и беспощадной нашей холодности, особенно моей. Правда, он пытался к нам подойти, но всё рассеянней, всё с меньшей надеждой, и жил чем-то уединяюще посторонним, увлекаясь модными книгами (о которых мы еле слышали), неубедительно говоря о вычитанной в них мудрости, направленной против жизни и вскоре захватившей многих из нас: в то упадочное время наши старшие товарищи, подражая разочарованной, порою фальшивой усталости взрослых и кокетливой безутешности этих модных книг, выискивали способы себя не щадить, себя как бы растратить физически и духовно – в бесцельном молодечестве (играя своим будущим), в «огарческих» кружках, в легкомысленных самоубийствах (вслед за этим

в нашей гимназии «на пари» отравился шестиклассник), находили иногда и героическое разрешение – тоже беспросветное, непростительно-раннее – в душном и вязком революционном подполье. Не знаю, поддался ли Щербинин одной только «моде», влияниям и книгам, но думаю теперь, спокойно и трезво, что он-то, пожалуй, не ошибался: ему были суждены одиночество и недооценка, незаслуженные обиды, завистливые мучения, и он среди общей нашей неприспособленности (через годы так страшно обнаружившейся) оказался бы слишком уже беспомощным.

Мы спешно с приятелями распрощались – каждый торопился со своею сенсацией домой: я позже неоднократно замечал – одинаково у себя и у других – как мы любим использовать всякую свою близость к чужому подвигу, к чужому самопожертвованию, страданиям, смерти, точно они и нас возвышают, хотя мы всего только «дешево отделались». Я не сочувствовал самому Щербинину (даже терзаясь душевной своей уродливостью), однако ждал нетерпеливо минуты, когда смогу домашних поразить, и смутно боялся, что при этом рассмеюсь, особенно в разговоре с нашей мадемуазель, которая примет мою новость с наибольшим удивлением и жалостью. Мне удалось лишь в зрелые годы частично избавиться от неприятного свойства – смеяться в лицо над чьими-либо неудачами, над плохими отметками или «разыгранными» учителями, над малышом, свалившимся от подножки, над карточным проигрышем, над оскланым оратором, над посрамленным и растерянным спорщиком, над бегущими и опаздывающими на поезд – нередко, читая газетные известия о далекой борьбе враждующих партий, о нарастании мировых событий, я азартно хочу ускорить чье-то окончательное поражение, и в основе то же смешливое злорадство, травля и добивание любых неудачников, вопреки собственным пристрастиям и природной искренней доброжелательности: у меня очевидно проявляются и повышенное чувство смешного, и темные внутренние силы, и какая-то нервная распушенность, и то неудержимое гибельное стремление, которое болезненно нас тянет кинуться с балкона или с моста, сказать невозможную, непоправимую грубость, напрасно обидеть нам преданную, кроткую возлюбленную. И в детстве и до сих пор – чтобы сразу же подавить неуместную улыбку, привязчиво-бесстыдный смешок – у меня всегда наготове достаточно грустные воспоминания: мне это – из-за долгой тренированности – всё более, всё надежнее помогает, но в иных соблазнительных случаях досадная моя склонность прорывается. Так вышло и с mademoiselle – увидев понятный ее испуг, я в упор неприлично-громко расхохотался.

В гимназии и дома загадочный поступок Щербинина несколько дней подряд обсуждался наперерыв. В классе никто не злословил, даже Оленин и Штейн, и высказывались ложно-обоснованные предположения в тоне снисходительности, напускной серьезности и опытности (будто мы временно под кого-то маскируемся), и так же – быть может, сердечнее – об этом говорил и Николай Леонтьевич, с оттенком сплетничества, доверительно-интимно разобравший все нами придуманные объяснения. Похороны были деловито-будничными – те же лица, гербы и шинели, тот же беспорядок и покрякивание учителей – и на улице, а затем на кладбище я не испытывал ничего, кроме колотья в ушах от сверлящего холодного ветра, и тоскливо ждал конца неприятностей, теплой комнаты, утренней газеты (помню, с какими-то сведениями о выборах, для меня увлекательной очередной «сенсацией»). Стыдясь ледяного своего равнодушия, я сделал попытку в себе пробудить естественное возмущение перед новой могилой – что она закроется и своей жертвы не выпустит, что мы согреемся, а Щербинин останется в мерзлой земле, что обидно так молодо умирать, но вялые общие эти мысли отпали, не тронув, как и всякое наше умничанье. Столь же искусственными оказались и сочиненные мною стихи, начинавшиеся со слов «Октябрь на дворе, столица заволочлась туманом, как всегда» и заканчивавшиеся нравоучительно, под взрослого:

Увы, хоронят молодого гимназиста,

Который слишком рано жизнь познал,
И, видя, что пути ее жестоки и тернисты,
Ее на смерть променял.

Стихи эти вскоре «затрепались» – не только по моей вине – и меня же стала отталкивать высокомерная их пустота, но Щербинина я по-прежнему не жалел и глухо радовался (как это бывало и впоследствии) исчезновению единственного свидетеля иных неприглядных моих сторон – в данном случае сентиментальных разговоров, смутных обязательств, постоянной беспощадности. И всё же мальчишеская моя бесчувственность не удержалась – она сменилась длительной связью с умершим, уже глубокой, похожей на «культ» и выбравшей два отчетливо-разных пути, которые изредка нечаянно скрещивались, однако не сливались и снова расходились.

Первый – тяжелые, навязчивые сны, возникшие по самому неожиданному поводу. Однажды вечером, блаженствуя в ванне (дней через десять после похорон), я – из ребяческого озорного любопытства – с головой погрузился в горячую воду, чтобы наглядно, приближенно себе представить, каково было Щербинину задохнуться, и от собственного ужаса, от дальнейшего сладкого освобождения вдруг ощутил его безвыходный конец. Это превратилось ошеломительно быстро в безвольную привычку, в какую-то странную одержимость: мне стоило остаться одному, как я судорожно пальцами зажимал ноздри и пробовал минуту не дышать, переносясь в предсмертное состояние Щербинина и всё более разделяя его мучения. Вероятно, были и другие причины, о которых я вспомнить не могу (или случившееся не сразу до меня дошло – наша «реакция» часто запаздывает, не поспевает за самим восприятием), но мне, именно поглощенному этой подражательно-самоубийственной игрой, впервые ночью приснился бледный, мертвый Щербинин, с теми синими пятнами, которые были у него в гробу, и всё же воскресший, способный двигаться и говорить – он крепко схватил мою руку своей холодной, как при жизни, рукой и повел меня куда-то вверх по длинной, страшной винтовой лестнице, причем я знал, что мы взбираемся на башню (не то вроде Вавилонской, по наивным библейским картинкам, не то на пожарную каланчу), затем он кинулся вниз и увлек меня за собой, и тогда я проснулся, дрожащий, невыразимо потрясенный. В квартире все спали, ничьей поддержки быть не могло, и я, как будто парализованный и темнотой и своим одиночеством, как будто находясь в присутствии, во власти мертвеца, особенно боялся уснуть и вызвать его неизбежное и слишком ощутительное появление. Это стало повторяться каждую ночь – по многу раз, едва я засыпал – и мой ужас не уменьшался, скорее даже усиливался, точно падало разумное сопротивление остатков уравновешенности и трезвости. Всё нестерпимее делалась пугающая, мстительная темнота, и часто вечером – из кабинета или гостиной – не имея мужества добраться до выключателя, я убегал в освещенную детскую, где наваждение немедленно проходило. Я себя уговаривал, что это не трусость, что у меня болезненные видения – хотя я к ним и не склонен, хотя таинственное мне чуждо и недоступно. Но потом, когда от возраста исчезла моя задетость, я – упрямо защищая ослабленную чувствительность (с таким упрямством защищают любовь), как бы спасаясь от сухости и скуки, – я себе навязывал эти же мрачные видения, и лишь последняя, грубо-искусственная попытка (студентом, в Крыму, среди пустынных улиц и бесконечных глиняных стен) разоблачила мой самообман: мне было нужно вот так по-взрослому себя осудить, чтобы навсегда отрешиться от соблазнительных выдумок. Я уже признавался, как меня возвышало романтическое вранье о Щербинине, лживо-тягостная моя виновность, легковесные предположения о расплате, к чему и сводилась вторая, внешняя сторона неразрывной моей с ним близости – и это выходило еще убедительнее от пережитых, неподдельно-страшных ночей (здесь явно скрещивались оба моих пути), и я, разумеется, удерживал (пока не явилась всё та же ироническая взрослость) простейшую возможность рисо-

ваться столь тщеславными о себе рассказами перед напуганными, взволнованными гимназистками, при вечной моей стеснительности и неловкой ухаживательской робости.

Война, революция и гибель стольких людей уничтожили, вытеснили у меня всю исключительность того давнишнего потрясения, как вытеснили и горькое величие смерти. Я закалился, внутренне окреп и случайным обидам не поддаюсь, словно обдуманно-твердо решил охранять от назойливых вторжений единственно мне важную область – любовную: в ней укрылась моя неизменно-плодотворная уязвимость и ставшая осторожной, когда-то легковверная отзывчивость, нетерпеливо стесненная поставленными ей пределами. Как ни удивительно, ожидание такой именно любви уже возникло в упадочные годы моего детства, которые иным моим сверстникам представляются лишь ступенью к последующим событиям (быть может, оттого, что события действительно произошли): для многих столь рано прерванная наша молодость – как бы движение слепого у пропасти, как бы удар, готовый обрушиться – они, однако, не помнят, какую молодость была, и мне эти записки доказали неуловимость ее забытого очарования. Теперь мы очутились в пустоте, без собственного облика, без опоры, вне жизни, и я (вероятно, и другие – каждый по-своему, ответственно и одиноко), я себя пытаюсь воссоздать – опять-таки по-своему, через любовь – и хотел бы, чтобы из-за нее потускнели огненные блески злобы (в чем-то осмысленной и праведной), и не знаю, куда и как применить отраженную, замкнутую, в любви накопленную доброту.

Возвращение

Едва ли не каждый на своем опыте убеждается в очевидном несоответствии того, как прихотливо-неровно ощущается время и как ритмически-точно его измеряют: я почему-то с упрямой непоследовательностью продолжаю наивно удивляться одной из таких несообразностей – что «скучные» дни, без событий и волнений, тянутся иногда невыносимо-долго, а дни, наполненные страхом, печалью, борьбой, наполненные ожиданием радости или горя (хотя ожидание и страх невыносимее скуки), кажутся – особенно впоследствии – пролетевшими незаметно. На эти мысли, простые и, в сущности, мне далекие, меня наталкивает сопоставление, уже обостренно задевающее, возникшее из-за постоянных наших поездок – все более вам нужных, опасных и длительных – сопоставление непрерывной с вами тревоги и моего спокойствия наедине. Обычно эти месяцы вашего добровольного отсутствия словно бы разрывают на части мою, и внешнюю, и внутреннюю жизнь, – и если нет у нас при встречах осязательной перемены в тоне разговоров, взаимного понимания и доверия, установленных, выработанных годами вдохновенных усилий – то разрыв, от одиночества и свободы (преувеличенных в моем восприятии), отравляет всю легкость и сладость общения посторонней, неясной, чужеродной примесью. У нас также не было при встречах перемены в основе отношений (да и устойчивая наша близость могла бы справиться с чем угодно – вероятно, и с тягостной потерей любви), и существо напряженной, почти неприязненной холодности, как-то у обоих неизбежной, когда вы снова появляетесь, существо нашего расхождения неукоснительно в одном – и у меня это нагляднее, грубее, неуклюжее – насколько в начале я по инерции поглощен предшествующей беззаботностью и пустотой: ведь и давнишние «безлюбивые» друзья, после разлуки и независимости, естественно, не сразу привыкают к обязывающим трудным совместным часам. Я изредка пробовал себе доказать, будто ваши приезды мне поневоле напоминают об ушедшем времени, о невозвратности, о постарении, о конце (из-за чего и вся бессознательная моя сопротивляемость), но затем обнаружил, какая в этом слащавая условность, и какая неподдельная жизненность была бы в ином – в нечаянном воскрешении соперничества и ревности: пускай бы даже их вызвали новые, грозные обстоятельства, устранив, обесценив предыдущие ревнивые опасения – для меня те и другие немедленно бы связались единой, безыскусственной, оживляющей болью, и к вам, неизменной виновнице и предмету моей боли, мне к вам едва ли пришлось бы так постыдно-неловко приспособляться. И вот эти «новые обстоятельства» налицо, и впервые – тотчас же после разлуки – я не испытываю ни растерянности, ни тяжести.

Как ни странно, мне с вами привычнее и «удобнее» из-за вашей теперешней полусмущенной враждебности, из-за вернувшейся моей боязни вас лишиться, из-за чего-то знакомо-обидного, что мной угадывалось и раньше – в подозрительной уклончивости ваших писем: в них проскальзывали похвалы каким-то неведомым друзьям, сухость тона явно умышленно скрашивалась неубедительной нежностью окончаний, да и самое откладывание вашего приезда (несмотря на благоразумные предлоги о квартире, деньгах и здоровье) не могло быть невинным и случайным и меня постепенно готовило к безнадежности или борьбе. На вокзале появились и эти, неизвестные мне, друзья, нарушив интимность и обаяние встречи, разумеется, с вашего согласия (уже неоспоримое доказательство глубокой вашей отчужденности), и я сразу же вспомнил, как вас летом один провожал, и то, что невольно забыл отметить в тогдашнем болезненном своем возбуждении: вы сперва дельно и трезво нашли заказанное спальное место, переменили его на нижнее, умело сговорившись с кондуктором, аккуратно сосчитали вещи, проверили часы – и затем лишь позволили себе растрогаться. И всё же я тогда не обманывался, и ваша обычная осмотрительность не предвещала отрыва или ухода, а эти бесконечные месяцы и эти вежливые молодые люди вас, пожалуй, от меня и отучили и увели.

Правда, ваши приятели заранее выехали из Канн, чтобы снять вам квартиру по вашей же просьбе, и, значит, им следовало быть на вокзале, вас как-то устроить и куда-то направить, но мне это представилось еще оскорбительнее, чем неудавшаяся наша встреча: я по-детски обиженно задавал себе вопросы (упиваясь их безответностью и вашей несправедливостью) – почему вы не поручили хлопот и поисков мне, разве я вам не ближе, не услужливей и внимательней, разве с точностью не знаю ваших истинных вкусов. Вы, по-видимому, не совсем ко мне охладели, что-то поняли и постарались меня успокоить, шутливо заявив о моем равнодушии к обстановке, о моей лени, о вашем нежелании напрасно меня утруждать, и вскоре я убедился в несомненной вашей правоте: «дельные мальчики» (как вы их благодарно и весело окрестили) отвезли нас по новому адресу, познакомили с консьержкой, показали квартиру, старомодно-буржуазно-уютную, и затем с милой дискретностью нас оставили вдвоем, и пока вы перемещали кресла, развешивали картины, я (пытаясь быть полезным, вбивая какие-то гвозди) нетерпеливо и мрачно возмущался этой будто бы ненужной суетой – мне действительно безразлична была всякая обстановка, если она некрикливая и хоть немного удобная, я слеп ко всему, что не волнует, что непосредственно не живет, что не люди, не души, не любовь, и (продолжая вам помогать) ждал одного, когда вы кончите «суетиться», когда мы усядемся и поговорим.

Но квартира мне понравилась больше вашей прежней пансионской комнаты (хотя и предвидел ее будущую для меня враждебность), да и то, что вы задумали и выполнили, было, как всегда, практически-толково и правильно – вам не пришлось из вагона переехать в отель, и вы сразу избавились от необходимой скучной работы. Порядок вы навели по собственному счастливому вкусу: от каких-то незначительных, произвольно-капризных перемещений всё в квартире словно бы ожило, она потеряла свою «меблированную» безличность, и мне это стало ясно, несмотря на мою неизменную к внешнему слепоту. Мы сидели в приемной (вы ее называете гостиной), я на низком удобном кресле, как-то вытянувшись во всю длину, вы – подбрав ноги – на огромной тахте, окруженная подушками, неподвижно-спокойно-мечтательная, и меня охватило (именно под влиянием обстановки) ощущение лени, беспечности, полусонного благополучия, вопреки дурной очевидности и явным признакам беды. Ненадолго вернулось иллюзорное равнодушие, сопровождавшее ваши прежние возвращения, появилась и та искусственная неловкая оживленность, которою мы (от усилий, от нервности, от разбега) обычно пытались маскировать первоначальное это равнодушие, были также и случайно произнесенные слова, ошибочно принимаемые за нечто решающее и нужное, и у меня вылетела из памяти дальнейшая, неизбежная и столь мне знакомая последовательность – как понемногу возникает нам свойственная дружеская нестеснительность, затем постоянная моя потребность быть около вас, переходящая в неистовую жадность ко времени с вами, в беззащитную и рабскую зависимость. Но главное, о чем я забыл, себя считая забронированным от боли, доверившись неискренней, поверхностной и веселой болтовне – это о темном своем страхе, уже пробудившем готовность мучиться и ревновать. Мы ужинали в низенькой столовой, загроможденной буфетами, столиками, сервизами, приветливая морщинистая бретонка нам подала всё, что полагается в добропорядочной французской семье, но я с ложным умилением (однако при вашей поддержке) вспоминал и неумеренно хвалил наши «бутербродные» пансионские ужины. Как и в некоторых других скромно-буржуазных парижских квартирах, из столовой на кухню ведет коридор, с дверью в широкую спальню, где вы на целый час уединились, куда не позвали меня (еще крохотный укол) и откуда вышли принаряженной, сияюще-освеженной: вечером ожидалась гости – ваши «дельные мальчики» (вас почему-то особенно тронуло, что они позаботились о прислуге) и Рита с Шурой, недавно поженившиеся.

Шура нашел «командитэра», чтобы основать собственное дело, небольшой «франко-русский» ресторан – открытие должно состояться через несколько дней, и сейчас у обоих супругов последние свободные вечера. Я Шуре давно предсказал коммерческий успех, для чего особен-

ной пронизательности не требовалось. Разумеется, и он, и Рита поглощены своим новым предприятием, говорят лишь о цифрах, о «конъюнктуре», которая «портится», с нами советуется, на какую рассчитывать публику, иностранную или русскую, богатую или среднюю (словно мы исключительно заняты их судьбой), и в Шурином покровительственном отношении к жене порою чувствуется бережливая «хозяйственная» нежность, сознание, что она – его незаменимая помощница. Ваши приятели, почти не скрывая, над ними посмеиваются, и Шура немедленно это уловил, но со свойственной ему житейской дальновидностью и гибкостью не стал возражать вероятным будущим клиентам и сам, применившись, усвоил распушенно-шутливый их тон. Я начал к ним присматриваться, пытаюсь угадать, кто из них «соперник» или даже «похититель» – ведь многое от меня ускользнуло за месяцы вашего отсутствия. Они старинная неразлучная пара – я смутно, до вас еще, слышал, что всюду зовут их «Павликом и Петриком» и что один без другого не появляется (им приписывали и «порочные наклонности», объясняющие непонятную их близость, однако теперь эти «модные» сплетни часто распускаются без малейшего основания). Я так и не решил, кого мне надо опасаться – вы были с ними приветливо-ровной, а безотчетная моя неприязнь к Петрику не означает, будто я что-либо угадал: просто мне он представился насмешливым до наглости, самонадеянно-заносчиво-развязным, и я искал, к чему бы придраться и чем бы позлее его задеть, и глухо досадовал на свою ненаходчивость. Они пришли, напудренные, во фраках (из-за какого-то «меценатского раута»), и нас мгновенно подавили бело-черным слепящим блеском, фамильярными суждениями о знаменитостях, перескакиванием с темы на тему, особым щегольством цинически-изысканных фраз, быть может, принятых в загадочном их кругу: во всякой «элите» (истинной и поддельной), во всяком презрительно-замкнутом кругу свое разговорное щегольство – от церемонной светскости или торжественных вещаний до намеренно-издевательской грубости – оно оглушает восторженных новичков и кажется недосыгаемо-трудным, затем перенимается незаметно-легко, придает нашей речи послушную, стройную гладкость и, в сущности, ее обезличивает раздражительной словесной игрой.

Я понемногу с вашими приятелями освоился и молча сидел, их разглядывая и сравнивая между собой: мой инстинкт любознательности пробуждается не от первого знакомства, а от внезапного наводящего толчка, и этим неожиданным толчком для сопоставления ваших друзей оказалось одно случайное обстоятельство – насколько до мелочей совпадало парадное их великолепие, невольно отнявшее у обоих непохожие, но как бы родственные черты. Меня действительно в их внешности поразило то неуловимое сближающее несходство, которое бывает иногда у супругов, у компаньонов, у людей почти не расстающихся и постепенно приспособившихся к совместной жизни или работе. Основное у Петрика – удлиненность, облагораживающая худобу, бледная яркость, лучистые серые глаза, слишком тонкие, выхоленные руки и вспышками резкий, по-детски взвизгивающий смех. Павлик обыкновеннее – округлое, чуть румяное благообразие, возможная в будущем полнота при сохранившейся еще пропорциональности линий и упругости, тоже серые, но тускловато-мягкие глаза и пухлые ручки с коротенькими безвольными ноготками. Всё это сглаживается одинаковостью роста (моего – средне-высокого) и старательно прилизанной подтянутостью, а также необычайной моложавостью, хотя Павлику около тридцати лет и он взрослее, уравновешеннее Петрика: я теперь лишь по достоинству оценил вашу похвалу – «дельные мальчики» – и не без горечи припомнил давнишнее собственное замечание – после вашего романа с Бобкой – о «вечных мальчиках», вам нравящихся (вы, улыбаясь, тогда возразили, что к ним причисляете и меня).

Новые гости сперва держались презрительно в стороне, обмениваясь чуждыми нам сенсациями (и к нам ни разу не обратившись, как будто мы «не доросли»), говоря о картинах, о торговцах, о щедром лондонском богаче: Петрик в свои двадцать четыре года уже нашумевший художник, и цветисто-многословные здешние критики считают его надеждой и чудом. Мне всё менее «импонируют» успех и талант, а такая наглядная профессиональная беззастен-

чивость для меня просто кощунственно-оскорбительна, хотя нередко под нею прячется стыдливая одержимость своим призванием. В этом обычно вы со мною сходитесь – вам нужно, как и мне, таинственное «внутреннее содержание», что, пожалуй, гадательно и меня возвышает: ведь я приписываю себе какие-то непроявленные силы и в чем-то беззастенчивее, самонадеяннее Петрика. Но ваше недоверие к успеху – признак душевной независимости и осторожного, справедливого, неженского ума – и если в данном случае вы не останетесь беспристрастной, вас нетрудно понять (и особенно мне) и найти объяснение в любовной вашей слабости. У меня самого стремительно возникает ответное, влюбленное, словно бы женское пристрастие: я заранее осуждаю ваше предполагаемое восхищение, его пытаюсь опровергнуть и свою придирчивость обосновать, причем – не умея разбираться в картинах, зная о Петрике из газет – выискиваю у него человеческие недостатки, но это косвенно роняет и неизвестные мне картины. Я вам хотел бы доказать, что ваши друзья – карьеристы и снобы, что главная цель их – общественно подняться, пролезть в очередной, им запретный круг (где, даже сомнительно утвердившись, они забывают о предыдущем), что их «нуворишское» чванство на вас предельно не похоже и, следовательно, вам с ними не по пути, при всей вашей упрямой ослепленности: вы настолько значительнее всякой среды, в которую нечаянно попадаете, и всяких «кастовых» соревнований, что их не видите и не гордитесь какой-либо местнической своей победой и своим отраженным, заемным блеском – не потому ли со всеми вы одинаково любезны, с несознаваемо-скрытым оттенком превосходства и снисходительности. Впрочем, нельзя так безрассудно поддаваться воображению – поработенная им реальность восстает и мстит за себя, и это сейчас же, неоспоримо, на мне подтвердилось. Быть может, я вас и не очень перехвалил, зато ваших приятелей необоснованно и чрезмерно унизил своей, к ним примененной теорией о снобизме, опять-таки непроверенной и подражательно-беспощадной – и вот искусственно получилось огромное несоответствие, лишь растрavляющее мою обиду назойливой мыслью, что вы предали меня ради недостойных вас людей. Напротив, отрешившись от предвзятости и негодования, успокоительно думать, что ваши друзья – совсем не «выскачки», не «пустозвонные болтуны», как я бы охотно их обозвал, при несомненном сочувствии Риты и Шуры (у нас робкий и молчаливый «тройственный союз»). И действительно, Петрик добился успеха – очевидно, как и другие – вдохновением и упорством, он, естественно, увлечен профессиональными вопросами, у него изящные движения и аристократическое имя (Стеблины – богатая московская знать), Павлик Ольшевский, кажется, воспитан и образован и «на прекрасном счету» в какой-то фильмовой конторе (по вашим словам, намекающим на житейскую мою непригодность), а в дальнейшем обнаружилась и его неожиданно-милая талантливость.

Вы предложили ему что-либо спеть. Он, не ломаясь, немедленно уселся за рояль и послушно-вопросительно на вас посмотрел. «Для начала спой “Бублички”, это пока не приелось, хотя скоро нас будет изводить», – посоветовал Петрик, и вы его радостно поддержали. Павлик задумчиво, как бы рассеянно заиграл, и его пухло-вялые, неловкие пальцы, казалось, любовно гладили каждую ноту, создавая нежно-певучие звуки, не отвечавшие грубому надрыву частушечной жалобы. Он и поет по-своему, чуть-чуть однообразно, однако, проникновенно, голосом мягко-высоким, печальным, усталым, не меняя тона, не напрягаясь, не доходя до шепота и лишь осторожно подчеркивая отдельные фразы, как их нередко подчеркивают поэты, читающие свои стихи. Первые звуки у него рождаются словно бы из воздуха, и в комнате что-то непонятное протяжно-долго звенит. Так иногда напевают женщины, еле слышно, про себя, вызывая полувлюбленный таинственный отклик – эта мысль меня вдруг жестоко и трезво перевела на внезапное подозрение об истинном сопернике, но я еще не успел втянуться в постоянную о вас тревогу и беспечно отмахнулся от неприятного, несносного подозрения.

Он спел еще несколько романсов, каждому известных, и среди них старинный цыганский – «Расставаясь, она говорила», – которого я прежде не слышал и в котором почему-то меня

тронули слова: «Одному лишь тебе позволяла целовать мои смуглые плечи», – и особенно тронуло всё заключение:

Для тебя одного покраснею,
Покраснею пред светом суровым,
Для тебя поклянусь... и солгу я
И слезой, и улыбкой, и словом.

Я порою нахожу неизъяснимую прелесть не только в цыганской или русской песне, но и в любой мелодической легковесной музыке, прелесть и непосредственную, и какого-то косвенного воздействия, какой-то нужной помощи извне моему усыпленному вдохновению: мне представляется, что именно такая, не настоящая, не длительно-властная музыка помогает «пустить на волю» напряженно-скованные творческие наши силы, как и сценическая, однако литературно-плохая пьеса дает актеру возможность развернуться, свободно выразить себя и свое – он не подавлен и не стеснен навязчиво-личной авторской волей, и есть канва, есть готовое подталкивание и движение. Смутно пытаюсь вам передать свой внутренний жар и, вероятно, полусознательно к вам подлаживаясь, я начал неумеренно хвалить выигрышные места последнего романа (как хорошо «дозволяла», а не «позволяла», еще убедительнее «для тебя поклянусь и солгу я») и незаметно вашу благосклонность «купил»: вы дружественно-экзальтированно со мной согласились, причем было ясно, что это относится не ко мне, что это лишь признательность за мои похвалы вашему гостю. Вы даже с мольбой ему сказали под конец, когда он тихонько опустил крышку рояля, – «Будьте добреньким, спойте мне “Бублички”, ну пожалуйста, не надо упрямитесь», – и я, возбужденный всем предыдущим, упиваясь текучестью напева, на минуту поверил далекому видению:

Ночь надвигается,
Фонарь шатается,
Свет проливается
В ночную мглу.
.....
И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей.

Я поддался, как в пьяном забытии, наивно-мечтательным предположениям, что, может быть, теперь «вся Россия» – в деревнях, на городских улицах, в московских пивных – распевает эти разгульно-тяжелые слова (пускай фальшиво-простонародные), которые с ней полнее отождествляются, чем газетные описания, советские книги, свидетельские рассказы, и у меня появилось редкое чувство теплой и сладостной общности с непостижимой, давно меня выбросившей страной. Я это попробовал объяснить – конечно, спокойнее и суше – неожиданно, Павлик вызывающе, словно поддразнивая, меня прервал:

– Видите, там и в пустыках люди умеют создавать новое, а здесь ровным счетом ничего.

Я мгновенно вспылал от его заносчивости: мое неслучайное беженство, «кожное» отращивание к большевикам по жестоким собственным воспоминаниям, подогретым столькими позднейшими событиями, неизбежное преувеличение европейской добросовестности и скромности (в противоположность «их» шальной самонадеянности) – все это постепенно укрепило эмигрантскую мою непреклонность, но обычно, в зависимости от собеседника, я бываю

то благодушнее, то раздражительнее, и Павлик нечаянно меня оттолкнул в сторону нетерпимости и резкости.

– А что же там еще создают нового?

– Пятилетка – вам мало?

– Да, просто удивительно – строят фабрики и дома. Но если правда, что целый народ поклоняется каким-то постройкам, то уж признайтесь, вера не возвышенная и народ скорее бездуховный.

– Не забудьте, это – средство, а цель высокая и прекрасная...

– Благополучие, разумеется, необходимое и которого пока всё меньше. И как же хотят к нему прийти – людей превращают в стадо, а для стада подыскивают пастбище.

Внезапно Шура – побледнев и нарушая свою прежнюю осмотрительность – заговорил незнакомым, глухим, ненавидящим голосом:

– Бросьте спорить, одно правильное решение – мое. Большевиков я расстреливал и буду расстреливать.

Петрик, не вмешиваясь в разговор, сокрушенно-злорадно покачал головой, и я растерялся, открыв, что Шура мне так же непонятен, как эти благонамеренно-буржуазные счастливицы, ради позы и современности притворяющиеся большевиками и кое в чем инстинктивно-прозорливые – наше время действительно с Шурой и с ними, а я и немногие мои сверстники, мы в прошлом или в далеком будущем и у младших поддержки не найдем. Даже вы оказались не за меня и после долгого неучастия в споре укоризненно прошептали мне: «Стыдно!» – как будто не Шура, но я собирался кого-то расстреливать. Вы и должны были меня осудить, следуя женским своим пристрастиям и не вникая в существо расхождения – и, конечно, любовная обида (а не сознание вашей неправоты) вызвала гневный мой внутренний отпор, и мне стоило неимоверных усилий привести доводы менее крайние, чем у Шуры, но тон запальчивости мои усилия выдавал:

– Я вовсе не за кровную месть, но почему «они» первые могут убивать. А Шура напрасно себя чернит. Он не расстреливал, он только защищался.

– Не знаю, как белые, а «они» могут и смеют. У них есть, во имя чего...

– Предположим, они ведут или уверены, что ведут к добру. Но разве можно идти к добру через зло. Ведь нельзя же количественно измерять – меньшее зло ради большего добра. А главное, нельзя в то же время любить и ненавидеть.

Это – мое давнишнее постоянное возражение (неотразимо для меня убедительное, всяким сторонникам беспощадной «борьбы за идею» и разумно-полезного истребления побежденных. Мне показалось, что «вопрос исчерпан», но Петрик с нежной улыбкой заявил (я мельком подумал – «иезуитская улыбка»):

– Ваше благородство похвально и достойно, однако, достойнее всего простой здравый смысл. Количественной разницей не следует пренебрегать, и мы всегда что-то выбираем и чем-то жертвуем. Но «там» есть и качество, и духовность, которую вы отрицаете.

Петрик назвал советские литературные имена, и мы опять стали спорить – бестолково и раздраженно – повторяя всем известные слова о творчестве и свободе, о эмигрантской нашей оторванности, причем каждый из нас, поневоле, отмечал лишь чужие оплошности и проникался неуважением к собеседнику. К нам присоединился Павлик, сейчас же запутавшийся в цитатах и заглавиях книг, и я использовал сравнительную свою осведомленность, чтобы высмеять обоих своих противников и намекнуть на их «комсомольскую» наивность. Петрик, нисколько этим не смущаясь, напал на меня и на мои «западнические тенденции» – с прежней, милой, детской улыбкой:

– Вы, к сожалению, не единственный, у кого стариковский испорченный вкус. Вам, конечно, нравится «французская кухня», ее переутонченные блюда, увы, несвежие и не питательные.

– Что делать, если они разнообразнее и лучше наших. Но оставим «кулинарный стиль» и постараемся быть серьезнее. Мне кажется, от революции мы, русские, интеллектуально обнищали, и надо уметь признаваться в своем падении. Неужели вы не видите, что Россия от мира наглухо отгорожена и захлебывается в собственном самодовольстве. Неужели не ощущаете провинциальной ее слепоты.

Я забыл, как меня самого – от одной незатейливой песенки – в эту «провинцию» мучительно потянуло, и не без грубого ехидства продолжал:

– Боюсь, и вы становитесь на них похожими и защищаете не большевиков, а себя.

– Благодарю за любезность и предлагаю эту острую полемику прекратить, не то мы подемся или усыпим нашу бедную хозяйку. Да и мне с Павликом пора на бал.

– Простите за мое негостеприимство, я действительно очень устала – и вовсе не от вашей полемики. Я просто не успела отдохнуть после дороги и квартирной возни.

Ваша усталость, обнаружившаяся именно к уходу обоих друзей, мне представилась решающей их победой, и я перед ними, на улице, стыдился своего поражения. Шура что-то угадал и на прощанье доверительно шепнул, словно пытаюсь меня утешить:

– Вы были молодцом, а наша Леля немножко ерундит, но мы еще им покажем, где раки зимуют.

Петрик, быть может, отыскивая общий со мною тон, заговорил о вас и о Рите цинически-весело, по-мужски: «А стоит ли добиваться и терять время?» Я отнесся без должного юмора к его деловитому вопросу, анекдотически (но едва ли намеренно) бестактному, и возмутился до бешенства и до боли («Какая наглость – если бы Леля слышала – нет, ее надо предупредить») и не сразу подумал о том, что Петрик, видимо, не влюблен, что и я в подобных обстоятельствах рассуждаю так же бесцеремонно, что вся моя горечь от любви, от влюбленного упоения вашей несправедливостью, и меня даже не обрадовало смягчающее воздействие Павлика («Брось, это некрасиво, ты не умеешь себя вести»): оно мне как-то помешало законно пиваться негодованием.

Дома я понял, что снова задет, обижен, ревную, что ваша расхожденность, наглядно мною увиденная, стремительно ускорила любовное мое возвращение, что мне предстоит борьба и отчаяние, а пока вплотную подошла эта уединенно-нетерпеливая ночь. Я с ужасом вспоминаю такие ночи, с отвратительными до них «последними впечатлениями», с рядом беспомощных попыток себя обмануть, с нарастающим сознанием своего бессилия и с невозможностью благоразумно смириться – у меня изредка бывают тяжелые приступы удушья, и вот, когда они проходят и дышится чарующе-легко, мне страшно думать об их неизбежном возобновлении и нельзя их предусмотреть или отвести, и так же внезапно, полуслучайно возобновляются бессонно-ревнивые мои ночи, с которыми я должен – от природной сопротивляемости – бороться, хотя и знаю свою, перед ними доказанную слабость. И сейчас, в изнуряющем одиночестве, как бы испытывая тошноту от физической боли, как бы стараясь – пускай ненадолго – ее унять, я без конца ворочался на жесткой отельной кровати и перепробовал, один за другим, все старые, наивно-жалкие способы освобождения. Есть, например, давно мне известная и порою спасительная поза – лежать с закрытыми глазами на спине, опираясь головой о плоскую подушку – тогда невольно могут совместиться телесное удобство, отсутствие желаний и приятные мысли о прошлом (разумеется, вашем и моем), мысли, заглаживающие теперешнюю безнадежность, однако, искусственное это спокойствие исчезает (словно его «сдунули») от нечаянного движения, от малейшей внутренней перемены, и, пожалуй, неясно, что лучше и что хуже: ведь меня тянет к отдыху и неподвижности огрубляющий инстинкт душевного здоровья, и в стремлении укрыться от беды, от навязчивых воображаемых упреков, мне столько раз помогавших судить о себе, о людях и чувствах, в подобном стремлении больше трусости, чем силы, моя же подлинная сила и призвание – боязненное любопытство ко всему неуловимо-запретному, не отравленное ни склонностью себя мучить, ни корыстными описательскими целями,

но эта беспримесная, живая любознательность, единственный источник плодотворной моей зречести, убивается вот именно такими намеренно-успокоительными, удобными «позами», и разве не вмешательство судьбы, что каждая из них – ошибка или мираж – и что я, даже против воли, не опускаюсь. И еще одна заведомо напрасная иллюзия – сначала вами привычно-возбужденный, я умышленно свое влечение переношу на какую-либо другую, мелькнувшую в памяти женщину (вчера, кажется, впервые – на Риту), и мне становится вдвойне и стыдно и грустно, оттого что и «она», вслед за вами, не разделяет унижительно-нежной моей чувственности или завистливых, необузданных желаний – я это обостренно сознаю, но должен как-то провести часы до утра и как-то вынужден себя утвердить, наперекор убогой, отвергающей меня реальности.

Вероятно, самое несносное – мне надо ускорить течение времени, от него оторваться, его «перехитрить» и «перегнать» (погрузившись в полуобморочную дремоту), а время изводит меня, как изводит школьника на уроке, ненавистно-унылой своей размеренностью, и каждая минута на счету: поэтому ночная моя лихорадка становится замедленной, неестественно-удлиненной, и жестокое, непрерывное ее сверление словно бы состоит из тысячи размножившихся частиц. Нет потребности, да и нужно ли сосредоточиться – я только послушно отмечаю, как бессвязно чередуются обрывки надежды, слова оскорбленной и непрощающей гордости, смутные поползновения вас оправдать (тем, что мы не выбираем своей любви и нелюбви, что и я бывал невольно беспощаден). Наряду с покорной усталостью возникает жажда подвига, славы и денег, настойчивое стремление перед вами безобразно и мстительно чваниться, создаются ребяческие картины вашего раскаяния, горькой и поздней вашей жалости, но всё это не удерживается, куда-то соскальзывает, и одно лишь неизменно возвращается – разрывая мне горло и грудь – понимание невознагражденной потери. В сущности, вы себя не выдали, ничего не сказали о своем уходе, о счастливом моем преемнике – и однако что-то произошло, достаточно ясное для меня и без ваших «официальных» подтверждений: я злобно припоминал нелепые мелочи и в них обнаруженную вами ко мне откровенную враждебность, забвение прошлого, нечаянные обиды (самые неподдельные и оттого самые тягостные), и меня постепенно охватила тоска бесповоротности, безутешности, преувеличенно – как всё любовное – распространяясь на целый мир, где я мучительно живу, где нельзя обольщаться и обманываться, где нет ни опоры, ни союзников, ни друзей. Заснуть так и не удалось, и хмурое раннее утро, нередко сладчайший, неврастенически-запоздалый мой отдых, до срока великодушно прекратило бессонную эту ночь, и я торопливо оделся, дрожа от слабости, потягиваясь и зевая, как праведный, примерный рабочий, который – по фабричному гудку – спешит, хотя и еле очнулся, на работу.

Обычно я нелегко поддаюсь разнородно-случайным внешним воздействиям (погоды, улицы, обстановки), и то, чем я внутренне поглощен – всегда близоруко-навязчиво – меня словно бы охраняет от всех этих неисчислимых воздействий, но теперешняя моя поглощенность, дошедшая до одержимости, до тупости (при невозможности чему-либо сопротивляться – из-за двойного телесно-душевного гнета), казалось, «окрашивала» и усиливала незаметные прежде влияния: так широкая струя воды в умывальнике, дважды неправильно и судорожно рванувшаяся, мне представилась странно-похожей на ляганье лошади, не подчиняющейся всаднику, а холодный, неприязненный осенний воздух меня ошеломил на мгновение, точно звонкий и неожиданно-быстрый удар. Затем – как будто опомнившись от наркотически мутного оцепенения (с повышенно-болезненной восприимчивостью ко внешнему) и снова разумно-упорно собою занятый – я внезапно перестал ощущать ледяное злобствование порывистого, режущего ветра и еле отметил в Булонском лесу, куда меня бессмысленно занесло, столь мне знакомое, столь милое когда-то предзимнее, предсмертное увядание. Мое покорное отчаяние, как у многих жизненно-цепких людей, неосторожно попавшихся в западню, сменилось потребностью немедленно действовать, и вот я решил, при вашей помощи, устранить назойливые темные догадки и с вами сейчас же договориться – скорее от смелости перед гроз-

ной и безутешной правдой, чем от малодушия, подавленного тяжестью незнания, и уж вовсе не от чрезмерной, просительно-смиренной болтливости, какую довольствуется отвергнутый поклонник. У вас я рассеянно огляделся, и меня – в исступленной моей тревоге – не поразила ваша ранняя привычная аккуратность (блузка и юбка, а не халатик, гладкие волосы, убранная спальня, из которой поспешно вы со мной перешли в «гостиную»), не поразило меня и то, что вы не удивились моему приходу: ваши ласково поощряющие глаза словно тихонько шептали: «В чем дело?» – я же, волнуясь, как перед экзаменом или в конце увлекательной книги, со страхом, с оттенком фаталистического бессилия, с любопытством постоянного свидетеля, я себя убеждал, – «Скоро всё будет ясно, еще минута спокойной выдержки». Слова находились целесообразно-простые, без неминуемого косноязычного стыда (за насильственное вторжение и допрашивание) – я напомнил о нашем далеком прощании, о тогдашней взаимной искренности, и своих надеждах и правах. Вы сидели в кресле напротив меня, приветливо-добрая, с выжидательной улыбкой, и пытались – отвечая – подбирать необходимые, смягчающие выражения, но была в вас какая-то стальная непреклонность, мне известная по прежним разговорам, какая-то несокрушимая власть над собой, какой-то испуг и дрожащая ярость самозащиты, и сразу – до смысла ваших слов – стало очевидно, что я проиграл. При этом бережная ваша осмотрительность не искупала, не могла изменить всего мной услышанного и понятого, и мельком я грубо о вас подумал – впервые за последние месяцы в третьем лице – «мягко стелет», и «здорово ее прибрали к рукам» – и невольно подумал, что я бы не сумел так хладнокровно сообщить о разрыве, так безжалостно-ловко «поставить на место» влюбленного, который еще надеется, который связан столькими обещаниями и годами пленительной дружбы, если бы меня всё время не поддерживало неотразимое чужое внушение, более крепкое и нужное, чем эта, им вытесненная близость. Я, пожалуй, неточно передал и как-либо должен соединить разрозненные ваши заявления, но ложно-уступчивый их тон, их гибкая «дипломатическая» твердость останутся в моей памяти навсегда. Вы сказали приблизительно следующее:

– Я всё чаще размышляю о нашем «романе», и печальный вывод – мы с вами в тупике. Мы начинаем стареть, и необходимо честно и трезво оглядеться. Наша идиллия – трусливая, легкомысленная и без будущего, и это, к сожалению, непоправимо – не по моей и не по вашей вине. Вы меня опозитизировали, я даже поверила в собственную воздушность и поэтичность, но по существу я благоразумная и дальновидная. Представьте себе, милый друг, еще несколько лет подобной беспечности, а затем, что нас обоих ожидает, перед чем мы оба с вами окажемся? Нет, мне надо как-то устраивать свою жизнь, да и вам я помеха и обуза. Не спорьте, вам трудно со мной, я нелепо-требовательная, вздорная женщина и за вами неискренне, жалко и скучно тянусь, не давая вам по-настоящему развернуться. Вы один из самых замечательных людей, каких я встречала, вы созданы для упорных усилий и для успеха, для безоговорочной, бескорыстной поддержки, а я чересчур занята собой, своими постыдно-мелкими победами неуверенной, стареющей «дон-жуанессы», но моя величайшая радость – если бы вы нашли достойную вас подругу и если бы она убедилась, что должна во всем перед вами стираться. О, тогда бы я добровольно ей уступила, не без зависти, однако, с тайной за вас признательностью. Не хочу язвительных упреков, будто я искусственно ухожу от любви и дано ли нам в себе ее уничтожить. Ничего серьезного и нового не произошло, и не толкуйте ничего превратно – мое отношение прежнее, но изменилось «отношение к отношению».

Я понял одно, что по этим причинам (не очень веским или попросту выдуманном), я бесповоротно лишаюсь чарующей вашей близости – голоса, кожи, родного, привычного колдовства пальцев, ладоней и обнаженных плеч – лишаюсь бодрящих милых ваших объятий, порою неистово-повелительных, и ваших неутомляемых, неотрывающихся губ, всей трепетно-тонкой, доступной и щедрой вашей стройности, и что всё это достанется или досталось уже мной угаданному случайному сопернику, и к нему оскорбленно-упрямая ненависть явилась первым моим безрассудным побуждением. Потом незаметно возникла удивительная работа при-

способления, попытка примириться с неизбежностью, с которой, казалось бы, примириться нельзя, попытка хоть что-нибудь спасти, пускай даже унизиться, но вас не потерять, и в первые, еле осознанные мои старания влилась разъедающей отравой та же неотвязная мысль о сопернике, до вас произвольно, почти немедленно доведенная:

– Я не спорю и заранее согласен на всё, только скажите, что не будет другого.

Вы улыбнулись успокоительно-нежно, быть может, обрадованная послушной и быстрой моей сдачей, и я вашу благосклонность использовал, притворившись недоуменно-несчастливым – не без глухого, инстинктивного расчета:

– Но как же дальше? Мне к вам не приходите? Неужели вы решили, что лучше не видется?

Мой расчет полусознательно «строился» на вашей дружеской улыбке, и оказалось, что я не ошибся – вы мне поспешно, с горячностью, возразили (не знаю, из жалости или наивно-опрометчиво):

– Приходите, как раньше, как всегда – мне никого не надо, если вы не отвыкли от меня, если по-прежнему нам вместе хорошо.

Вы пересели, волнуясь, на диван и очутились рядом со мной, до осязательности, до сладости близко, и у меня, победившего в чем-то основном (на расставаться, иметь к вам доступ), у меня сразу повысилась требовательность – йот вашего головокружительного соседства, и от несомненности будущих наших встреч, от еле оправданной и уже капризной избалованности – я смущенно-лукаво спросил (все в той же роли искусственного притворщика), исполните ли вы «последнее желание возлюбленного», и, услышав торопливое «да, конечно», как бы шутя, как бы подражая модной песенке, театрально произнес: – «Un baiser!»

Кажется, поводом для несвойственной мне развязности было представление, будто ваша нога поощрительно-долго прижимается к моей, но позже выяснилось, что я толкаю ножку стола и что именно это и вызвало какую-то чувственную бесстыдную мою смелость, нелепую вспышку ребяческих надежд, и лишний раз подтвердился старый закон – что для нас реальность обманчиво сливается с иллюзией, и значит, суть в нашем головном восприятии, а не в самой внешнепредметной сути. Всё же и такой унижительный повод меня привел к успеху, без него недостижимому, зато и, соответственно, призрачному и жалкому: в одном из полузабытых своих дневников недавно я с горечью отметил выражение «неубедительный поцелуй» (как неизменно у каждого из нас повторяются одинаковые или сходные случаи, как мало действительной пользы дает наш многотрудный, неимоверно печальный опыт), и вот обидное это выражение применимо к сегодняшнему единственному поцелую – вы до брезгливости равнодушно мне сбоку подставили скупые, сжатые губы, и я им заведомо-ложно приписал мягкость, женственность, умиленность, прелесть вернувшейся и ликующей ответственности, всё мной утерянное, предназначенное другому и в чем я завистливо нуждался. Если бы тот, кому вы меня предали, кому, вероятно, обещали со мною порвать, ощутил ваш сегодняшний поцелуй, он к вам едва ли смог бы придраться и счесть нарушенным жестокий ваш уговор. Я вас покинул неподвижно-сиротливой, приросшей к дивану, усталой, поколебленной (хотя мне еще передавалась какая-то враждебная упрямая сила) – и эта ваша раздвоенность немного меня обнадежила смутной возможностью борьбы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.